

Б. Н. Миронов. Пришел ли постмодернизм в Россию? Заметки об антологии «Американская русистика» // // Отечественная история. 2003. № 3. С. 135—146.¹

Составитель антологии Майкл Дэвид-Фокс собрал в двух томах превосходные работы, к тому же хорошо переведенные на русский язык, написал к каждому тому отличные введения, в которых представил читателю авторов, рассказал об их творчестве, объяснил, почему для антологии были выбраны именно эти, а не другие исследования. Особенно интересно введение «Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России» к первому тому, где Дэвид-Фокс предложил периодизацию послевоенной американской русистики на основе поколенного принципа: «отцы» (конец 1940-х – середина 1960-х гг.), «дети» (конец 1960-х – конец 1980-х гг.) и «внуки» (1990-е гг.), имея в виду не годы рождения, а годы деятельности историков. Критерий классификации - весьма приблизительный, учитывая, что многие профессиональные историки работают после защиты диссертации 30-40 лет и в течение своей жизни изменяют если не свои исторические взгляды, то свои интеллектуальные ориентации. Наверное, было бы точнее говорить не о поколениях, а об этапах развития русистики, которые находились как бы в родственных отношениях как отцы, дети и внуки. Поэтому в дальнейшем под «отцами» я буду иметь в виду конец 1940-х – середина 1960-х гг., под «детьми» - конец 1960-х – конец 1980-х гг. и под «внуками» 1990-е гг. Каждый хронологический отрезок – одновременно и этап и поколение, так как на каждом этапе преобладающая группа историков относилась к людям одного возраста. Данная классификация при всей ее условности имеет смысл, поскольку

¹ Американская русистика: *Вехи историографии последних лет. Императорский период*: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Самарский университет, 2000. 332 с. Тираж 1000 экз.

Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Самарский университет, 2001. 376 с. Тираж 1000 экз.

отражает смену господствующей парадигмы или, как предпочитает говорить Дэвид-Фокс, структурные сдвиги в историографии. В смене поколений прослеживается логика, так как отношения между взглядами «отцов» и «детей», по мнению Дэвида-Фокса, характеризуются как тезис-антитезис, а отношения между тремя поколениями, по моему мнению, - как тезис-антитезис-синтез.

«Отцы» писали историю «сверху вниз», дети - «снизу вверх», внуки – предпочитают изнутри. «Отцы» подчеркивали определяющую роль политики, выдающихся личностей и идеологии; «дети» строили свои интерпретации вокруг «общественных сил»; центральным пунктом у «внуков» может быть и идеология, и личности, и социальные группы. Неотъемлемой частью подхода «отцов» было подчеркивание случайности большевизма и возможности либеральной альтернативы; «дети» охотнее писали о социальной необходимости революций и взаимодействии народа с революционными партиями; «внуки» допускают любые варианты. «Отцы» были антикоммунистами и антимакистами; «дети» придерживались более «левых» взглядов, не чурались марксизма, использовали данные и постулаты официальной советской историографии; «внуки» принадлежат к разным партиям. «Отцы» изучали преимущественно политическую историю конца XIX-начала XX вв.: большая политика и ее главные действующие лица, метаидеи, партии, государство, элита, истоки и альтернативы революций, революционное движение, русский марксизм; «дети» предпочитали социальную историю от Великих реформ до 1917 г.; «внукам» нравится изучать «белые пятна» советского периода, XVIII-начало XIX в., империю и нерусские народы. С точки зрения интеллектуальных ориентаций, «отцы» считали за лучшее принцип Леопольда фон Ранке: «установить, как собственно все происходило»; «дети» придерживались парадигмы западной социальной истории, построенной на количественных и социологических методах и междисциплинарном подходе. «Внуков» можно назвать

эkleктиками - не отказываясь от сравнительно-исторического и междисциплинарного подходов (правда, они отдают предпочтение литературоведению, семиотике и культурной антропологии), им нравится работать в рамках новой культурной истории, изучать умонастроения, социальные идентификации, народную культуру; метаисторию они приносят в жертву частому случаю (case-study), постижение общего – изучению конкретного и индивидуального, анализ - повествованию. Почти все «внуки» находятся под сильным влиянием постмодернизма, правда, и действующие «отцы» и «дети» не избежали его влияния. Однако постмодернистские настроения среди русистов, как и историков вообще, не стали доминирующими, так как в противном случае изучать прошлое потеряло бы смысл. Основной структурный сдвиг во взглядах трех поколений русистов на исторический процесс Дэвид-Фокс определяет следующим образом: «это сдвиг от ”большой” политики и грандиозных идей “отцов“ к рассмотрению “детьми” проблем общества и общественных сил, и к широкому пониманию культуры “внуками“». Он справедливо подчеркивает, что «каждый структурный сдвиг дает определенные преимущества и позволяет увидеть много нового» (1: 20).

Насколько предложенная периодизация адекватна?

Опираясь на год защиты диссертации, 16 авторов, включенные в антологию, вместе с ее составителем следующим образом распределяются по поколениям (после фамилии в скобках год защиты диссертации и год первой публикации работы из антологии): **отцы** (3): Марк Раев (1950-е, 1975), Дэвид Джоравски (1957, 1993), Альфред Рибер (1959, 1993); **дети** (8): Шейла Фицпатрик (1969, 1993), Джеймс Уэст (1969, 1984), Катерина Кларк (1971, 1995), Грегори Фриз (1972, 1986), Пол Бушкович (1975, 1997), Лора Энгельстейн (1976, 1986), Дэниел Годес (1981, 1987), Джейн Бербанк (1981, 1997); **внуки** (5): Стивен Коткин (1988, 1995), Юрий Слезкин (1989, 1994), Майкл Дэвид-Фокс (1993, 2000), Питер Холквист (1995,

1997), Томас Баретт (1997, 1995).

Представленные в антологии работы первого послевоенного поколения мало соответствуют типологическим признакам «отцов». Кратко напомним содержание их работ, не вступая в дискуссию с авторами.

Согласно Раеву,² в России XVIII в. реформами Петра I и Екатерины II была введена характерная для Центральной Европы XVII в. новая форма государственной практики - на смену пассивной обязанности государства поддерживать законность и общественный порядок пришла активная, динамичная задача развития производительной энергии общества и создания для этого надлежащей институциональной основы. Вследствие этого Россия XVIII в. представляла собой один из вариантов общеевропейского феномена регулярного полицейского государства. Отличие России, по мнению Раева, состояло в том, что европейские государи опирались в реализации этой цели главным образом на бюрократию, а российские императоры - на выборных представителей существовавших корпораций горожан и крестьян. Поскольку выборные не проявляли большой заинтересованности в выполнении государственных задач, модернизация в России происходила медленно. Осознавая это, Петр I и Екатерина II пытались создать систему сословий, на которую могло опираться государство в реализации своей задачи. Однако и в этом потерпели неудачу по той причине, что в принципе нельзя создать автономные и инициативные сословные учреждения под контролем и опекой государства. Таким образом, используя сравнительно-исторический подход, Раев ставит Россию в европейский контекст, определяет общее и особенное в ее государственном строе XVIII в.

² Mark Raeff, "The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth and Eighteenth-Century Europe."

Рибер³ доказывает несостоятельность трех распространенных в американской историографии концепций или трех мифов: (1) об экспансионизме, геополитическом «стремлении к морю, (2) о русском мессианизме и вере русских в свою избранность (Москва - третий Рим) и (3) о восточно-деспотическом, или патриархальном (вотчинном), характере российского государства. Он подвергает критике также идею-фикс, возникшую на базе этих трех мифов, о русской угрозе и стремлении России к мировому господству, которая превалировала в западной историографии и массовом сознании с середины XIX в. до конца «холодной войны». Экспансионизм российской внешней политики, считает автор, определялся существованием устойчивых факторов - экономической отсталостью, уязвимыми границами, многонациональностью и местоположением на периферии великих очагов культуры. Именно попытки преодолеть эти факторы слабости, а не стремление к мировому господству, лежали в основании внешней и отчасти внутренней политики России. Однако попытки никогда не бывали вполне успешными; экспансионизм приводил к парадоксу – постоянно усилившаяся внешняя мощь России опиралась на все более слабый и шаткий фундамент. Устойчивые факторы существования, полагает автор, в принципе можно изменить при условии коренного пересмотра принципов внешней и внутренней политики. Как видим, Рибер использует структурный подход, придавая наибольшее значение поиску имплицитных факторов внешней политики, а не психологии народа или поведению политических лидеров. Из его объяснительной схемы следует, что любое государство в положении России было бы вынуждено делать то же, что и она. Поэтому в построениях Рибера в отношении России нет негативизма, и она не выглядит «империей зла».

Джоравски⁴ смягчает традиционную для ранней западной русистики точку зрения о непримиримых противоречиях между властью и интеллигенцией, идеологией и наукой. Он

³ Alfred J. Rieber, "Persistent Factors in Russian Foreign Policy: An Interpretive Essay."

⁴ David Joravsky, "The Stalinist Mentality and the Higher Learning."

считает, что в период расцвета сталинизма, в 1930-начале 1950-х гг., отношение власти к науке определялось двумя принципами – партийностью и прагматизмом, а практические результаты научных исследований контролировались на оселке идеологической чистоты. Но приложение этих принципов к отдельным научным дисциплинам отличалось разнообразием, что и предопределяло бóльший или меньший прогресс дисциплин: там, где прагматизма было больше, там коэффициент отдачи науки и успехи были бóльшими, и наоборот. В точных и естественных науках враждебности к независимым исследованиям было меньше, в науках о человеке – больше. Наука развивалась благодаря постоянным компромиссам между коммунистическими правителями и учеными – и те, и другие демонстрировали образцы «сговорчивой принципиальности» (2: 231). Феномен и парадокс советского строя заключался, по мнению Джоравски, в попытке научной организации жизни, что было характерно для всех развитых стран в XX в., причем нигде попытки «техницировать» науки о человеке не заходили так далеко и не были столь катастрофическими по своим последствиям, как в СССР.

В перечисленных работах Россия не противопоставляется Западу, не представляется уникальной и принципиально отличной от Европы. Раев полагает, что государственность России XVIII в. просто отставала в своем развитии, повторяя пройденный в центрально-европейских странах путь. Джоравски обнаруживает в сталинскую эпоху триумф прагматизма, характерного для всех европейских стран XX в. Рибер редуцирует уникальность исторического пути России до ординарного национального своеобразия, объясняемого объективными геокультурными и геополитическими факторами, и подвергает критике идею о русской угрозе, популярной среди историков первого поколения. Тематика работ в рамках любимых тем 1950-х гг., однако, с точки зрения методологии и ревизионистских выводов, все три работы находятся скорее в рамках новой социальной

истории, в них активно используется сравнительно-исторический анализ, пересматриваются старые концепции. Благодаря большому творческому потенциалу и творческому долголетию, все три автора вышли за рамки парадигмы, которой придерживались большинство представителей первого поколения, и построили мост, связавший «отцов» и «детей».

Второе поколение также включает историков типичных и отклоняющихся от той парадигмы, которая преобладала в конце 1960-первой половине 1980-х гг. Статьи Уэста, Бушковича и Кларк представляются эталонными для второго поколения. Уэст⁵ анализирует попытки российской буржуазии мобилизовать общественность и народ в 1909-1914 гг. на борьбу против монархии. Задача его анализа состоит в том, чтобы оценить способность буржуазии и шире - всей образованной части общества, идентифицировать свой статус, определить свои отношения с государством, мобилизовать общество на реализацию своих политических целей. Автор приходит к выводу о провале всех этих усилий по двум главным причинам. Во-первых, ни одна из существовавших общественных групп не владела навыками сотрудничества и готовности идти на компромисс. Во-вторых, радикальная буржуазно-демократическая программа не имела массовой социальной базы: социальная структура в начале XX в. находилась в состоянии дезинтеграции или перехода от сословий к классам, средний и высший классы были малочисленны и разрозненны.

Бушкович⁶ изучает конфликт между Петром I и царевичем Алексеем на базе новых архивных документов и приходит к выводу, что сущность конфликта состояла не в личных противоречиях на почве приверженности первого Европе, а второго старине, как традиционно принято считать в историографии. И Петр, и Алексей были «европейцами»,

⁵ James L. West, "The Riabushinsky Circle: Russian Industrialists in Search of a Bourgeoisie."

⁶ Paul Buskovich, "Power and Historian: The Case of Tsarevich Alexei 1716-1718 and N. G. Ustrialov 1845-1859."

хотя и разной ориентации: первому нравилась протестантская Европа, второму - католическая, барочная Европа. Конфликт возник по другим причинам. Во-первых, существовали глубокие противоречия в высших эшелонах власти, широкая, но скрытая антиреформаторская оппозиционная атмосфера среди дворянства, духовенства и народа; значительная часть аристократии симпатизировала царевичу, разделяя его недовольство строительством Петербурга и продолжавшейся войной со Швецией. В этих условиях царевич мог стать знаменем оппозиции. Кроме того, Австрия и Швеция не прочь были воспользоваться в своих интересах противоречиями среди элиты и в императорской семье. Традиционная трактовка конфликта восходит к его первому исследователю, придворному историку Николаю I, Н. Г. Устрялову, который в угоду Николаю I фальсифицировал документы, для того чтобы преуменьшить оппозицию Петру. Тонкий классический источниковедческий анализ новых документов привел автора к новым, важным выводам.

Кларк⁷ исследует развитие социалистического искусства в судьбоносные 1920-е гг. Она отказывается от традиционно фаталистического взгляда на историю советской культуры, в соответствии с которым на 1920-е гг. смотрели как на время закладки основ «культуры сталинизма», как на необходимый и логический этап в ее развитии. В действительности не было ничего предрешенного, считает автор. Искусство развивалось не по заранее заданному плану, а спонтанно и эволюционно, так как «история культуры – не роман, написанный по канонам социалистического реализма» (2: 167). Власть выбирала эталоны случайно и непоследовательно, нередко идя на поводу у масс, так как по своим вкусам недалеко ушла от рядового городского обывателя. В своем выборе она руководствовалась политическими целями – создать антибуржуазную культуру, перевоспитать зрителя или читателя в соответствии с новыми идеологическими и

⁷ Katerina Clark, “The Establishment of Soviet Culture.” From Chapter 8 of Katerina Clark, *Petersburg, Crucible of Cultural Revolution* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995), 183-200, 342-346.

культурными стандартами (возможно, это и обеспечивало некоторую преемственность в культурной политике). Значительная часть творческой интеллигенции разделяла эти цели. Между ее различными группировками шла борьба главным образом за то, какой стиль или какое произведение станет эталоном. В результате взаимодействия власти, интеллигенции и народа, а также под воздействием идеологии во второй половине 1920-х гг. произошел культурный сдвиг: петербургский интернационалистский авангард был потеснен московской «русоцентристской» культурой, иконоборчество уступило место иконотворчеству, борьба за создание «истинно советской» культуры стала более нетерпимой и воинственной.

Остальные авторы второго поколения сочетают «социальный» и постмодернистский подходы. Используя методологию немецкой школы «истории ключевых понятий», Фриз⁸ в своем широко известном исследовании пришел к важным и свежим выводам. Сословная система в России к концу XVIII в. едва сформировалась, а в первой половине XIX в. была динамичным и развивающимся институтом; сословная парадигма играла важную роль в пореформенной России и даже после 1917 г. не потеряла полностью своего значения. Автор полагает, что идея сословности способствовала структурированию социальной реальности и формированию четких корпоративных организаций с различными культурами. Движущими силами в процессе формирования сословий наряду с государством выступали сами социальные группы, так как сословная система соответствовала интересам не только государства, но и самого населения.

Фицпатрик,⁹ как бы продолжает исследование Фриза и проверяет его вывод о живучести сословной парадигмы после революции 1917 г. на данных 1920-1930-х гг. Она находит, что государство под влиянием марксистской идеологии само создало, или

⁸ Gregory Freeze, "The estate (Soslovie) Paradigm and Russian Social History."

⁹ Sheila Fitzpatric, "Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia."

«изобрело», классовое общество с целью достижения социальной стабильности, разрушенной революциями и войной: власти «приписали каждого человека к классу», наложили на него «наследственное клеймо классовой принадлежности» и заставили выполнять соответствующую его статусному положению функцию. В результате возникли «мнимые классы», в действительности являвшиеся «советскими сословиями», которые как в допетровское время были закреплены государством. Регенерация сословий отвечала представлениям, настроениям и ожиданиям большинства населения, так как служила интересам новых привилегированных сословий – пролетариата и трудового крестьянства, которые в новых условиях оказались наверху социальной пирамиды, а бывшие привилегированные сословия - дворяне, чиновники, духовенство – внизу. Возрождение сословной структуры стала возможным благодаря тому, что сословная парадигма не была изжита к 1917 г., что, между прочим, доказывает правильность выводов Фриза о незавершенности процесса превращения сословий в классы до революции. Таким образом, Фицпатрик понимает сталинизм, как феномен, вобравший в себя устойчивые черты реалий предшествующей эпохи.

В статьях Энгельстейн и Тодес исследуются дискурсивные практики врачей и ученых с целью обнаружения культурного, или исторического, бессознательного - в обоих случаях это была народническая идеологии, господствовавшая в среде русской интеллигенции в пореформенное время. Анализируя дискуссии русских врачей в конце XIX-начале XX в. по вопросу причин распространения проституции и сифилиса и мер против них, Энгельстейн¹⁰ выяснила, что врачи главной причиной распространения сифилиса в деревне считали антисанитарию, а не половые контакты, так как не допускали возможности существования внебрачных половых связей в высоконравственной, с их точки зрения, крестьянской среде.

¹⁰ Laura Engelstein, “Morality and the Wooden Spoon: Russian Physicians View Syphilis, Social Class, and Social Behavior, 1890-1905.”

При всех расхождениях во мнениях, врачи относили женщин всех сословий и крестьян обоого пола к людям, не способным сделать сознательный моральный выбор в сфере сексуальности, вследствие того что крестьяне и женщины сохранили первичную чистоту и близость к природе; только мужское городское население, безотносительно к их сословной принадлежности, могло регулировать свое сексуальное поведение. В отношении мер, направленных против проституции, врачи отдавали предпочтение просветительским мерам перед принудительным государственным регулированием, опять же под влиянием народнических взглядов.

Тодес¹¹ нашел, что интерпретация идей Дарвина на русской и английской почве была различной и зависела от национального стиля, иначе говоря, от той институциональной, культурной и социальной системы, в которой работает данное научное сообщество. Большинству членов русского научного сообщества, в отличие от английского, идея «борьбы за существование» в лучшем случае представлялась неточной и вызывала смущение, в то время как идея «естественного отбора» казалась здоровой. Подобная реакция русских ученых имела свое объяснение. В условиях низкой плотности населения, огромной незаселенной территории и доминирования общинных отношений, идея борьбы за существование, воспринимавшаяся как метафора мальтузианской идеи перенаселения, была для русских бессмысленной, не актуальной и противоречила их системе ценностей. Кроме того, англичане придерживались индивидуалистической политической и идеологической ориентации, а русские – коллективистской. Поэтому для первых идея бездушного индивидуализма была обыденна и нормальна, а для вторых - не приемлема; русские отдавали предпочтение «закону о взаимной помощи» российского ихтиолога К. Ф. Кесслера. Таким образом, господствовавшие парадигмы сознания имели универсальное значение и

¹¹ Daniel P. Todes, “Darwin’s Malthusian Metaphor and Russian Evolutionary Thought, 1859-1917.”

всепроницающий характер, они влияли даже на медицинский диагноз и на восприятие научных идей.

Статья **Бербанк**¹² изучает влияние идеологии – в данном случае правовой идеологии – на развитие российской государственности в пореформенное время. По ее мнению, крестьянские волостные суды после судебной реформы 1864 г. были популярны в деревне и приобрели важное значение в регулировании общественных отношений; в своей деятельности суды использовали огромное количество документации и нормы официального права. Все это способствовало проникновению писанного закона в практику крестьянской жизни и, что особенно важно, развитию правовой культуры в среде крестьянства, установлению его связей с государством, так как крестьяне участвовали в деятельности правовых учреждений, государством установленных. Однако господствовавшая правовая идеология, противопоставлявшая закон и обычай, препятствовала пониманию юристами истинного значения волостных судов в деле развития правовой культуры и чувства гражданственности у крестьян. Вследствие этого общественность не обратила должного внимания на успешную деятельность волостных судов и не поддержала позитивные тенденции в их деятельности. Это затормозило появление у крестьян веры в беспристрастное правосудие для всех, а также и выработку убеждения, что закон служит их интересам, и в итоге помешало развитию правовой культуры в стране.

Как можно видеть, поздние работы второго поколения в большей или меньшей степени испытали влияние постмодернистской методологии. Фицпатрик и Фриз имплицитно и мягко используют постмодернистскую концепцию «воображаемых сообществ», поскольку рассматривают социальную структуру как результат конструирования, статусного

¹² Jane Burbank, “Legal Culture, Citizenship, and Peasant Jurisprudence: Perspectives from the Early Twentieth Century.”

приписывания людей. Однако в противоположность постмодернистам, они еще сторонники континуитета, не отрицают объективного существования сословий и классов. Энгельштейн и Тодес находятся под влиянием постмодернистской концепции «дискурсивная практика» и не задаются вопросом о соответствии мнений экспертов и реального поведения людей.

«Внуки» еще более активно используют постмодернистскую методологию. Коткин¹³ анализирует повседневную жизнь рабочих Магнитогорска в 1930-е гг., чтобы реконструировать ментальную структуру, или историческое бессознательное, людей сталинской эпохи, внутреннюю логику их мышления и самоидентификации. Он реконструирует понимание современниками ключевых для эпохи понятий: производительности труда, трудовой дисциплины, трудовой деятельности, социального происхождения и политической лояльности. По его мнению, власти удалось сконструировать «советскую», или «сталинскую цивилизацию», достичь лояльности со стороны подавляющего большинства и трудового энтузиазма со стороны значительной части рабочих, потому что она добилась позитивной интеграции рабочих и режима, внедрила в них чувство неразрывной связи партии и рабочих посредством «игры в социальную идентификацию». Люди, по крайней мере жители Магнитогорска, считали сталинскую общественную систему прогрессивным, антикапиталистическим обществом, новой цивилизацией с новым советским языком, новой советской идентичностью, новым отношением к труду и т. д.; они считали себя советскими гражданами русской, татарской или узбекской национальности. Люди сначала вынуждено или неосознанно говорили «правильные слова по-большевистски» - из-за необходимости публично продемонстрировать свою веру в советскую власть. Но постепенно «правильные слова» интернализировались, становились внутренними категориями индивидуального сознания, а

¹³ Stephen Kotkin, "Speaking Bolshevik." From Chapter 5 of Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization* (Berkeley: University of California Press, 1995), 198-237, 488-515.

затем категориями массового сознания и поведения, так как словесная артикуляция своей социальной идентичности предопределяет мышление и в конечном итоге социальное и политическое поведение человека.

Слезкин¹⁴ полагает, что советская власть планомерно «конструировала» не только новые социальные реальности, но и целые нации, создавая национальную государственную территорию, «коренную» бюрократию и интеллигенцию, национальные науку, культуру учебные заведения, в ряде случаев даже национальный литературный язык. За интенсивным национальным строительством, или «этнофилией» (2:330), стояла марксистская идеологическая догма, согласно которой угнетенным народам социалистические идеи доступны только в национальной форме, дорога к пролетарскому интернационализму лежит только через национальное размежевание. Однако надежды властей на создание некоей новой советской идентичности на базе пролетарского интернационализма не оправдались. Во-первых, вследствие неспособности создать культурную традицию, приемлемую для всех обитателей советской «коммунальной квартиры», как метафорически называет автор СССР, вероятно, под влиянием А. А. Зиновьева. Во-вторых, советская власть декларировала принцип республиканской государственности и право на собственное государство и не пыталась слепить советскую нацию или превратить СССР в русское или советское национальное государство. Поэтому когда СССР - «ненациональное государство без национальной идентичности, национальной культуры и официального языка перестало существовать, национальные негосударства оказались его единственными законными наследниками» (2:349, 364). Отсюда напрашивается вывод, которого автор, правда, не делает: «воображаемые нации» стали действительными нациями благодаря тому, что их

¹⁴ Yuri Slezkin, “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism.”

хорошо сконструировали, другими словами, национальная политика дала плоды, которые следовало ожидать.

Баретта¹⁵ реконструирует повседневную жизнь на подвижной российско–кавказской границе в XVIII-первой половине XIX в. На фронтире он обнаруживает броуновское движение, хаос: происходил процесс, включавший завоевание Северного Кавказа, истребление аборигенов и сближение народов и культур, изменение экологии и адаптацию колонистов к своеобразной географической среде, создание новых семей, новых крепостей и поселений и разрушение старых, взаимодействие культур и социальную мобильность, русификацию местного населения и аборигенизацию русских, насилие и взаимопомощь и многое другое. Отношения между кавказцами и русскими нельзя подвести под какую-нибудь дефиницию, например под колониализм, так как с экономической точки зрения отношения не были колониальными. На фронтире формировались принципиально новые реальности. Например, армавирские армяне по вере были христианами, по гражданству (подданству) - россиянами, по одежде и обычаям - черкесами, по статусу - купцами и государственными крестьянами и только по самосознанию – армянами. Автор явно вдохновлен новым подходом к изучению подвижной границы в США, получившего распространение в 1990–е гг., который постулирует отказ от одностороннего тернерианского взгляда на американскую колонизацию Запада как продвижение демократии и прогресса на дикий Запад вместе с белыми американскими колонистами.

Работа Холквиста¹⁶ может служить российской иллюстрацией концепции Мишеля Фуко о возникновении в практике управления в Европе новейшего времени сильной тенденции к тоталитаризму - к политическому господству в форме контроля за каждым и

¹⁵ Thomas Barret, “Lines of Uncertainty: The Frontiers of the North Caucasus.”

¹⁶ Peter Holquist, “‘Information is the Alfa and Omega of our Work’: Bolshevic Surveillance in its Pan-European Context.”

моделирования желательного жизненного пути индивидов.¹⁷ Даже название статьи перекликается с названием известной книги Фуко «Надзирать и наказывать» (Michel Foucault, *Surveiller et punir*). Сам Холквист не скрывает, что его взгляды на развитие государства сформировались под влиянием работ Фуко (2:77). Поскольку развитие государства в направлении «не просто править землями, но управлять и манипулировать населением» было общеевропейским явлением, то «надзор за настроениями населения надо понимать не просто как “русский феномен”, а как вспомогательную функцию политики современной эпохи (одним из вариантов которой является тоталитаризм)». В XX в. цели такого надзора во всех странах были одинаковые – наблюдение и контроль над общественными настроениями и мнениями, стремление изменить сознание и мировоззрение подданных. В советской России превалировала конструктивная функция надзора – формировать нового человека, способствовать строительству нового общества, «воздействовать на людей, чтобы их изменить» (2:47), в Британии – наблюдательная и контрольная. Таким образом, надзор в советской России представлял один из вариантов общеевропейского феномена новейшего времени – роста прерогатив государства до возможности тотального контроля за гражданами, до уровня, когда власть полностью подчиняет жизнь индивида. В этом контексте Россия являлась одним из вариантов «государства национальной безопасности», а феномен власти, конфискующей жизнь человека, – общеевропейским явлением. В принципе Холквист, как и Коткин, рассматривает СССР как один из европейских вариантов социального государства, или государства всеобщего благоденствия, которое черпает обоснование своей легитимности и своего предназначения в социальной сфере. Тем самым оба автора отрицают уникальность советского пути развития.

¹⁷ Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller, eds., *The Foucault Effect: Studies in Governmentality. With Two Lectures by and Interview with Michel Foucault* (London: Harvester Wheatsheaf, 1991).

Как видим, в случае «внуков» дело не ограничилось, как полагает Дэвид-Фокс, «флиртом» с постмодернизмом, ибо они попали под сильное влияние его методологии. Мир порой воспринимается ими как текст и изображается как дискретный, фрагментарный, даже как хаос. «Внуки» используют ряд базисных постмодернистских концепций: «повседнев» (quotidian) как культурное бессознательное в самом широком диапазоне социо-культурных практик; «дискурс» как специфический способ конструирования социального, «идеология» как любая система взглядов (бытовых, семейных, религиозных, политических и прочих, явных и неявных), регулирующих сферу повседневности;¹⁸ «воображаемое сообщество», согласно которой категории «сословия», «класс», «нация» и им подобные существуют в сознании и определяют мышление и поведение людей. Они по возможности избегают количественных данных, не обращаются к методологии современных социальных наук, их анализ намеренно качественен. Они стремятся к интерпретации изучаемого явления в понятиях и нормах, свойственных людям изучаемого времени; уделяют большое внимание обыденным ритуалам, рутине, манере общения, идентификации, словом, символизму повседневной жизни. Однако на этом пути возникает проблема надежности полученных выводов.

Коткин считает, что самоидентификация рабочих в 1930-е гг. вполне соответствовала официальной классовой идентификации, следовательно, социальная структура общества казалась им классовой в марксистском смысле. Фицпатрик, опираясь на законодательство и политику в социальной сфере, пришла к выводу, что социальные образования, которые возникли под влиянием феномена «приписывания к классу», следует охарактеризовать как советские сословия; между тем они выглядели как классы и именно так описывались современниками. Слезкин, опираясь на законодательство и политику в сфере национальных

¹⁸ И. П. Ильин, *Постмодернизм: Словарь терминов* (Москва: Интрада, 2001), 97, 202-204.

отношений, утверждает, что новая советская идентичность граждан СССР не возникла, а Коткин, опираясь на самоидентификацию, полагает, что возникла - татарин считал себя советским гражданином татарской национальности, узбек – советским гражданином узбекской национальности и т. д. Таким образом, согласно самоидентификации социальная структура советского общества была классовой, согласно объективным признакам - сословной; согласно самоидентификации в СССР возникла советская идентичность, а согласно объективным признакам - нет. Этот ряд легко продолжить: согласно самоидентификации, нации в СССР возникли, по объективным критериям – нет; согласно самоидентификации, советские люди были самыми свободными в мире, по объективным признакам – закрепощенными и т.д. Бесспорно, очень важно знать, что сами люди думали о себе и стране, в которой они жили, но вряд ли этого достаточно – хотелось бы знать, что же они и страна представляли собой в соответствии с некоторыми общепризнанными критериями и в сравнении с другими народами и странами. Большинство советских людей в 1950–1970-е гг. имели твердое убеждение, что они жили в самой богатой, передовой, демократической, просвещенной, гуманной стране в мире. Разве этой констатации достаточно для суждения об СССР? Как же оценить, в какой стране они жили, если не использовать данные о национальном доходе, смертности, зарплате, соблюдении прав человека и другие абстрактные показатели и понятия современной экономической науки, социологии и психологии?! И правильно ли игнорировать постановку вопроса о соотношении самоидентификации и объективной идентификации, как это делают большинство исследователей, применяющих постмодернистский подход? На мой взгляд, подход, объединяющий самоидентификацию и объективную идентификацию имеет больше перспектив.

И все же Дэвид-Фокс прав - о полном приятии «внуками» постмодернистской

эпистемологии говорить не приходится. Они не потеряли вкус к тому, чтобы давать объяснения, искать общее и особенное в истории России и Запада, устанавливать причинно-следственные связи; они не стали нигилистами, не заменили истину иронией; они вглядываются в мир как ученые, а не как поэты. Поворот в сторону новой культурной истории и лингвистики обогащает традиционные методы исследования, придает больший вес их выводам, развивает традиционные направления русистики, заложенные «дедами». Сам составитель антологии, принадлежит к «внукам». Однако вряд ли можно отнести его историографический анализ во введениях к обоим томам антологии к постмодернистским эссе.

Работы первого поколения русистов (в данном контексте речь идет о всех «отцах») были сильно идеологизированы, политизированы и телеологичны, так их авторы исходила из идеи, что раз империя потерпела крах, то всегда и во всем была несостоятельна и каждое событие или явление в ее истории вело к гибели. Идеи «кризис старого режима» и «дорога к революции» довели также, хотя и в меньшей степени, над многими исследователями второго поколения (но не над теми, кто представлен в антологии). Третье поколение стремится избежать фаталистического взгляда, изучать прошлое ради прошлого, смотреть на историю с открытым, а не предрешенным концом, не заглядывая в будущее. Поэтому «внуки» предпочитают культурный подход, микроанализ с акцентом на изучение отдельных, специфических эпизодов и ситуаций, а не долговременных процессов.

При всем разнообразии тем, интерпретаций и методологий в развитии послевоенной американской русистики просматриваются, на мой взгляд, следующие тенденции.

1. Отказ от парадигмы кризиса Российской империи или СССР.
2. Признание факта, что российские граждане и институты действовали достаточно эффективно, чтобы поддерживать общество как живой, функционирующий организм.

3. Исчезает враждебность к царизму, российской бюрократии, советскому правительству или коммунистической партии; на них смотрят как на институты, которые пекутся о благосостоянии страны и действуют в меру своих возможностей и понимания для поддержания общества и государства в рабочем состоянии.
4. Отказ от противопоставления общества и государства или народа и государства.
5. Отказ от идеи противопоставления России и Запада; все чаще Россия рассматривается как часть Европы, имеющая свои особенности, как и все другие европейские страны.
6. Расширение тематики и методологического разнообразия, междисциплинарность подхода.

Теперь поставим еще один актуальный вопрос, затронутый Дэвид-Фокс: происходит ли интеграции русистов в международное сообщество и наблюдается ли конвергенция взглядов, методологий и концепций?

Дэвид-Фокс говорит да. Но не все с ним согласны. Например, Дэвид Рансел¹⁹ считает, что в доперестроечное время, до конца 1980-х гг., между американской и советской историографией было больше общего, чем в начале XXI в., так как и в США, и СССР исследовались одни и те же проблемы и использовались одни и те же подходы и методы, ассоциируемые обычно со школой Анналов. В 1990-е гг. американцы переориентировались на культурную историю с акцентом на антропологическое изучение символических систем, литературоведческий анализ, историю искусств, совершив так называемый «лингвистический поворот», а россияне осуществили лишь тематический поворот, не изменив прежней методологии. Американцы подвергли фундаментальному сомнению методологическую ценность научных понятий и статистических серий. Они обнаружили,

¹⁹ David Ransel, "A Single Research Community: Not Yet," *Slavic Review*, 60(3), Fall 2001, 550-557.

что одни и те же понятия в разное время имеют разный смысл и наполняются различным содержанием. Цифры не прозрачное окно в прошлое; они также являются концептуальными категориями и поэтому включают или исключают информацию в зависимости от представлений их составителей, от требований заказчиков и общественного мнения. Правда, и в России встречаются немногочисленные постмодернисты, но главным образом среди некоторых историков западного средневековья и литературоведов.

На мой взгляд, Рансел преувеличивает поворот в американской историографии и недооценивает изменения в российской, отсюда и его вывод о том, что единое исследовательское сообщество пока не сложилось. Хотя американские социальные историки и испытали влияние постмодернизма, большинство из них не стали последовательными постмодернистами.²⁰ Их методология, как мы видели на примере американских русистов, обогатилась, но ни «внуки, ни «дети» не пренебрегают ни методологией новой социальной истории, ни статистическими данными. Например, в популярной в настоящий момент в США книге Джеффри Брукса «Спасибо Вам, товарищ Сталин»²¹ используются теория моральной экономики, структуралистский подход, социальная психология и даже контент-анализ, как и в его первой книге «Когда Россия училась читать».²² На мой взгляд, и сам Рансел не стал постмодернистом. Нельзя также забывать, что в США постмодернистская методология встречает не только поддержку, но и серьезные возражения.²³ Американские экономические историки продолжают работать со статистическими сериями как прежде.

²⁰ С. Смит, «Постмодернизм и социальная история на Западе: проблемы и перспективы», *Вопросы истории*, 1997, № 8, сс. 154-161.

²¹ Jeffrey Brooks, *Thank you, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

²² Jeffrey Brooks, *When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861-1917* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985).

²³ Прямое осуждение постмодернистского подхода, известного как «лингвистический поворот», см.: Palmer, Bryan D. *Descent into Discourse: The Reification of Language and the Writing of Social History*. Philadelphia: Temple University Press, 1990. Более взвешенную дискуссию см.: Berkhofer, Robert F. *Beyond the Great Story: History as Text and Discourse*.

Почти все примеры, которыми Рансел иллюстрирует «лингвистический» поворот в США, касаются американистов. Что же касается русистов, то работы Грегори Фриза и Элиз Уиртшафтер²⁴, на которые он ссылается, вряд ли можно назвать постмодернистскими. История социальных категорий – это традиционное направление не только в западной, но и в российской историографии.²⁵ Лора Энгельштейн²⁶ более активно использует постмодернистскую методологию, но, во-первых, она настроена достаточно критично к постмодернизму и его главному теоретику Мишелю Фуко.²⁷ Во-вторых, идея о существовании у интеллигенции ментальной решетки, которая ограничивала и искажала их видение – это в сущности старая марксистская идея о социальной или идеологической обусловленности сознания, подновленная постмодернистами в духе «лингвистического поворота».

Для доказательства растущего разрыва между американскими и российскими историками Рансел сравнивает реакцию тех и других на мою книгу «Социальная история» и

Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1995. См. также: N. Carrol, “Tropology and Narration,” *History and Theory*, vol. 39, 2000, pp. 396-404; R. Martin, “History as Moral Reflection,” *Ibid*, pp. 405-416; P. Heehs, “Shaped Like Themselves,” *Ibid*, pp. 417-427; С. И. Жук, “Заметки о современной американской историографии,” *Вопросы истории*, 1995, № 10, сс. 162-167.

²⁴ Gregory Freeze, “The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History,” *American Historical Review*, 91 (1), Spring 1986; Elise K. Wirtschafter, *Social Identity in Imperial Russia* (DeKalb, Ill: Northern Illinois University, 1997).

²⁵ М. А. Дьяконов, *Очерки из истории сельского населения в Московском государстве (XVI-XVII вв.)* (С.-Петербург: Археографическая комиссия, 1898); В. О. Ключевский, *История сословий в России. Сочинения*. 8 т. (Москва: Государственное издательство политической литературы, 1959, т. 6; А. С. Лаппо-Данилевский, *Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России* (С.-Петербург: Типография Товарищества «Общественная польза», 1905); Н. П. Павлов-Сильванский, *Государевы служилые люди: происхождение русского дворянства* (С.-Петербург: Государственная типография, 1898); Idem. *Государевы служилые люди: Люди кабальные и докладные* (С.-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1909).

²⁶ Рансел ссылается на книгу: Laura Engelstein, *The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia* (Ithaca: Cornell University Press, 1992). Кстати, книга переведена на русский язык. Последняя книга Энгельштейн пока не переведена: Laura Engelstein, *Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale* (Ithaca: Cornell University Press, Ithaca, 1999).

²⁷ Laura Engelstein, “Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia,” *American Historical Review*, 98 (2), April 1993.

находит, что отклики принципиально различны. С точки зрения Рансела, книга написана в традициях социальной истории 1970-1980-х гг. Поэтому американцы возражают против концептуализации российской истории с помощью социологических понятий, против позитивистской методологии, широкого использования теории модернизации и исторической статистики, рекомендуют рассматривать социальные категории (сословие, класс, преступность, нация) как искусственные конструкции, а не как реальности. Россияне же возражают только против некоторых выводов и аргументов, принимая в целом предложенный подход. В конечном итоге, как полагает Рансел, с точки зрения американцев, автор идет не в ногу с западной социальной наукой, а с точки зрения россиян – слишком опирается на последнюю. Думаю и здесь Рансел сгустил краски и получил в результате чрезмерно контрастную картину. В самом деле.

«Социальная история» написана в рамках не новой социальной истории 1970-1980-х гг., а скорее в рамках «другой социальной истории» 1990-х г., так как в ней целый ряд традиционных исторических сюжетов: государство, крепостное право, русская община и другие - изучается с позиций культурной антропологии. Традиционно российская государственность рассматривалась как система чуждая интересам народа, крепостное право и община – как институты, принудительно навязанные государством сверху; сельская община считалась одним социальным атавизмом, другими - высшим социальным достижением русского народа. Получалось, что самодержавие существовало без твердой социальной опоры, в каком-то безвоздушном пространстве, а базисные институты общества были чужды населению. Антропологический подход показал, что монархия, крепостное право и община существовали на протяжении ряда веков потому, что были укоренены в коллективном бессознательном, или, как я говорю, чтобы не пугать российских читателей, в менталитете, и воспринимались обществом как законные, оптимальные или даже

единственно возможные. Я показываю, что действующие институты и нормы не являлись внешним, навязанным людям, просто вмененными или приписанными государством или правом; они рождены в ходе взаимодействия всех действующих лиц и являются по существу договорными (контрактными) отношениями. Крепостное право вводилось государством, но по желанию самого населения; передельная община в XVIII-XIX вв. в тех районах, где ее до тех пор не было, вводилась государством, но по требованию крестьянства; попытка ограничения самодержавия аристократией при Анне Иоанновне не состоялась по требованию дворянства. Социальные институты и сама политика самодержавия были результатом компромисса, «переговоров», неписаных договоров между различными социальными группами и структурами и соответствовали их интересам. Например, в главе «Главные социальные организации крестьянства, городского сословия и дворянства», выявлена контрактная сущность институционального устройства крестьянской и городской общины, а также дворянских корпораций, показана заинтересованность всех социальных групп и государства в этих институтах в силу того, что они удовлетворяли их интересы. В книге десятки страниц посвящены выяснению того, что люди думали, как формулировали свои представления о себе, помещиках, монархе, семье, обществе, общине, свободе, крепостничестве, государстве, чтобы понять это коллективное бессознательное, которое определяло их политическое, социальное, экономическое и демографическое поведение.

Я не опираюсь непосредственно на теорию модернизации, но использую ее базисную идею о трансформации традиционного, доиндустриального общества в современное, индустриальное. Эта идея не потеряла своей актуальности в современной социальной науке, как, впрочем, и теория модернизации, которая отнюдь не является позавчерашним словом ни западной социологии, **ни западной славистики**. Теория была разработана в 1950-1960-е гг., но в 1970-1990-е гг. развивалась и в современной социологии в обновленном виде

занимает важное, хотя и не доминирующее, как в 1950-1960-е гг., положение, сосуществуя с другими теориями.²⁸ Многие современные социологи считают, что усовершенствованная теория модернизации дает исследователю ориентиры для объяснения процессов, происходящих как в прошлом, так и в настоящем.²⁹ **Не только российские, но и западные историки достаточно активно используют теорию модернизации.**³⁰ Точно так же и концепция Фердинада Тенниса о двух типах социальных связей и отношений, воплощенных в понятиях *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*, глубоко усвоена современной социологией,

²⁸ Ulrich Beck, *Risk Society: Towards a New Modernity* (London and Newbury Park, CA: Sage Publications, 1992); J. Berger, "After the Victory of the West: Theories of Modernization Revised," *Annual Meeting of the American Sociological Association* (Pittsburgh), August 1992; Stephen Crook, Jan Pakulski, and Malcolm Waters, *Postmodernization. Change in Advanced Society* (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1992); S. C. Dube, *Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms* (Tokyo : United Nations University; London; Atlantic Highlands, NJ: Zed Books, 1988); S. N. Eisenstadt, *Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations* (New York: Free Press, 1978); S. N. Eisenstadt, ed., *Patterns of Modernity*. 2 vols. (Washington Square, NY: New York University Press, 1987), Vol. I: *The West*; Vol. II: *Beyond the West*; Bruno Grancelli, ed., *Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe* (Berlin and New York: Walter De Gruyter, 1995); Hans Haferkamp and Neil J. Smelser, eds., *Social Change and Modernity* (Berkeley: University of California Press, 1992); David Harrison, *The Sociology of Modernization and Development* (London and Boston: Unwin Hyman, 1988); Timothy W. Luke, *Social Theory and Modernity: Critique, Dissent, and Revolution* (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1990); Alvin Y. So, *Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World-System Theories* (Newbury Park, CA: Sage Publications 1990); Piotr Sztomka, *Society in Action: The Theory of Social Becoming* (Cambridge, UK: Polity Press, 1991); Göran Therborn, *European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945—2000* (London and Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995); Edward A. Tiriakian, "Modernization: Exhumer in Peace (Rethinking Macrosociology in the 1990s)," *International Sociology*, 1991, No. 2, pp. 165-180; Steven Vago, *Social Change* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989).

²⁹ K. Müller, "'Modernizing' Eastern Europe: Theoretical Problems and Political Dilemmas," *Archives Européennes de Sociologie*, 1992, No. 1, pp. 109-150; S. N. Aiseustadt, "Multiple Modernities," *Daedalus*, 129 (1), 2000, pp. 1-30; J. Arnason, "Communism and Modernity," *Ibid*, pp. 61-90; R. Ortiz, "From Incomplete Modernity to World Modernity," *Ibid*, pp. 249-260; B. Wittrock, "Modernity: One, Nine, Many," *Ibid*, pp. 31-60.

³⁰ Simon Dixon, *The Modernization of Russia 1676-1825* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Janet M. Hartley, *A Social History of the Russian Empire 1650-1825* (London: Longman, 1998); Geoffrey Hosking and Robert Service (eds.). *Reinterpreting Russia* (London: Arnold, 1999); Esther Kingston-Mann, *In Search of the True West: Culture, Economics and Problems of Russian Development* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999); David Moon, *The Russian Peasantry 1600-1930: The World the Peasants Made* (London: Longman, 1999); James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed* (New Haven: Yale University Press, 1998).

получила дальнейшее развитие и до сих не потеряла свою актуальность и не является устаревшей.³¹

Различия в критике «Социальной истории» западными исследователями и россиянами имеются и касаются преимущественно методики, все они тонко проанализированы Ранселом.³² Однако, на мой взгляд, различия не столь существенны сравнительно с тем общим, что всех рецензентов объединяет. И западные, и российские историки, за немногими исключениями, в целом позитивно оценили книгу, потому что все исходят из одной системы ценностей (гражданское общество, демократия, права личности, частная собственность, рыночная экономика предпочтительнее, чем их отсутствие) и применяют единые критерии оценки исторического исследования - адекватность, объективность, достоверность, точность, новизна. Кстати, то же мы наблюдаем при оценке «Антологии американской русистики»: если сравнить введение Дэвида-Фокса с введением П. С. Кабытова и О. Б. Леонтьевой ко второму тому антологии, то поражает сходство оценок – как будто их писал один человек. Давайте представим на минуту, что «Социальная история» опубликована 15 лет назад, конечно, на Западе, поскольку напечатать ее в СССР было бы невозможно. Различий в оценках западных и советских историков было бы больше или меньше, чем сейчас?! Думаю, комментарии излишни. Да, в методическом отношении практика российских и американских историков имеет различия, но только в том смысле, что среди американцев больше тех, кто испытал влияние постмодернизма и социальной

³¹ David Jary and Julia Jary, eds., *Collins Dictionary of Sociology*. 2-d ed. (HarperCollins Publishers, 1995), vol. 1, an entry “Community”. Русский перевод: *Большой толковый социологический словарь. Collins*. Дэвид Джери и Джулия Джери, ред. (Москва: Вече, 1999), т. 1, сс. 511-512.

³² Вообще, на мой взгляд, американские работы, как правило, превосходят российские, посвященные тем же сюжетам, в методике анализа, понятийном и научном аппарате; в них присутствует сравнительно-исторический контекст, теоретический аспект и новизна интерпретации, сочетается эмпирический подход с концептуальным. В то же время, российские работы часто имеют преимущества в базе данных и адекватности интерпретации источников.

антропологии, чем среди русских. Однако, что не менее, а скорее всего более важно, *мировоззрение, интеллектуальные и ценностные ориентации тех и других сблизилась за последние 15 лет чрезвычайно*. И это необходимо принимать во внимание.

Почему же в методологическом отношении (методы, подходы, понимание объекта изучения) имеются различия или отставание? Во-первых, я не уверен, что в конце 1980-х гг. существовал паритет. Советские историки изучали те же сюжеты, а количественные методы применяли даже, пожалуй, больше, чем американские русисты. Однако концептуализация исторического процесса была принципиально иной, и выводы их исследований чаще всего были принципиально иными, потому что эпистемологические парадигмы были различными. В одном случае парадигма была ровесницей середины XIX в., в другом - второй половины XX в. – отставание на 100-150 лет. В настоящее время эпистемологический разрыв сократился, так как российские историки за 10 лет возмужали по крайней мере на 100 лет. А то, что они меньше поддаются постмодернистским соблазнам, имеет свое объяснение. Во-первых, российские историки озабочены другими проблемами. Для американского общества давно понятна его национальная и цивилизационная идентификация; огромное большинство американцев разделяют единую систему ценностей. В российском обществе нет консенсуса по этим и другим мировоззренческим вопросам – треть населения ностальгирует по советскому прошлому, треть видит идеалы на Западе, треть ищет самобытный третий путь. Поэтому общество требует от историков ответа прежде всего на большие вопросы. В США на базе капитальных исследований по социальной, экономической и политической истории, сложилось намного более ясное представление о своем прошлом, чем в России, где существует огромный дефицит добротной исторической информации, не искаженной идеологическими догмами. Могло ли быть иначе при архаичной теории, отсталой методике, идеологическом диктате, тематических перекосах (в советское время тысячи диссертаций

посвящались революционному движению, рабочему классу или ведущей роли КПСС в индустриализации, коллективизации, Отечественной войне, строительстве коммунизма и т.д.). Если бы российские историки поддались постмодернистским соблазнам и переключились на изучение модных тем, то формирование добротной научной базы исторических сведений затормозилось бы.

Вторая причина различий в методологии - профессиональное отставание российских историков. Запад и в особенности США – лидер в науке; новые идеи, как и любая мода, приходят в Россию с опозданием. Естественно, и постмодернизм пришел с опозданием, причем, встречен в большинстве случаев враждебно. Но не потому, что пришел с Запада, а потому, что не соответствует современному мироощущению, отвлекает от решения актуальных для России общественных вопросов, а также, возможно, и потому что напоминает некоторыми своими положениями марксизм, к которому у многих российских исследователей существует острая аллергия. Не актуально для современной российской интеллигенции ни специфическое постмодернистское видение мира, в том числе современного западного общества, как хаоса, лишённого причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, децентрированного, неупорядоченного и фрагментарного. Не привлекают ее и такие базисные идеи постмодернизма, как глобальный мировоззренческий кризис буржуазного общества; ложность буржуазной рационалистичности; недоверие к научному познанию; бессмысленность конструирования картины мира, двусмысленность и нестабильность человеческого существования; социальная, классовая, идеологическая обусловленность сознания каждого индивида; враждебность власти к человеку; недоверие к теории и к любой объяснительной системе – будь то религия, история, наука, психология, искусство. Принять постмодернизм – значит утратить не просто идеал, но даже надежду на его обретение. Ведь современное западное общество является для трети россиян идеалом

социального устройства. Однако в последние годы началась осторожная диффузия новейших западных подходов в российскую историографию.³³ И если не произошел еще «лингвистический поворот», то поворот к социальной антропологии налицо.³⁴ Кроме того, в России, как и в США, пользуются популярностью другие, кроме постмодернизма, направления и теории, в частности теория модернизации и ее приложение к анализу российской истории.³⁵ А спрос теперь и в России рождает предложение.

Говоря об увеличившемся разрыве между американскими и российскими историками, Рансел ссылается также на дискуссию на международной конференции «Менталитет и аграрное развитие России» (1994 г.), участники которой не проявили интереса к современной западной трактовке термина менталитет. Стоит напомнить, что

³³ К. Касьянова, *О русском национальном характере* (Москва: Институт национальной модели экономики, 1994); Б. И. Колоницкий, *Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года* (С.-Петербург: Дм. Буланин, 2001); И. С. Кон, *Сексуальная культура в России: Клубничка на березке* (Москва: ОГИ, 1997); Ю. М. Лотман, *Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII-XIX века)* (С.-Петербург: Искусство, 1994); Паперно И. Самоубийство как культурный институт (Москва: НЛЮ, 1999); Л. П. Репина, «Новая историческая наука» и социальная история (Москва: ИВИ РАН, 1998); *Российская повседневность 1921-1941 гг.: Новые подходы* / Составители А. И. Муравьев, Б. А. Старков (С.-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1995); А. К. Соколов, «Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения,» in *Социальная история. Ежегодник, 1998/1999* (Москва: РОССПЭН, 1999), сс. 39-76; Б. А. Успенский, *Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление)* (Москва: Языки русской культуры, 1998); А. Эткинд, *Хлыст: Секты, литература и революция* (Москва: НЛЮ, 1998).

³⁴ А. И. Куприянов, «Историческая антропология: проблемы становления,» in *Исторические исследования в России: Тенденции последних лет* / Под ред. Г. А. Бордюгова (Москва: АИРО-XX, 1996), сс. 366-385.

³⁵ В. В. Алексеев, ред., *Опыт российских модернизаций XVIII-XX века* (Москва: Наука, 2000); Н. Н. Зарубина, *Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и современные теории модернизации* (С.-Петербург: Издательство РХГИ, 1998); В. А. Красильщиков В. А., *Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX в. с точки зрения мировых модернизаций* (Москва: РОССПЭН, 1998); О. Л. Лейбович, *Модернизация в России: К методологии изучения современной отечественной истории* (Пермь: ЗУУНЦ, 1996); С. Я. Матвеева, ред., *Модернизация в России и конфликт ценностей* (Москва: ИФРАН, 1994); *Модернизация и национальная культура: Материалы теоретического семинара (1993 г.)* (Москва: Апрель-85, 1995); *Модернизация: Зарубежный опыт и Россия* (Москва: Агентство «Информат», 1994); «Модернизация: факторы, модели развития, последствия изменений,» *Уральский исторический вестник* (Екатеринбург), 2000, Вып. 5-6.

термин пришел в российскую историографию с Запада и в широкое научное обращение вошел где-то в конце 1980-х гг. (а до тех пор считался изобретением буржуазной историографии), что само по себе свидетельствует о проникновении современных западных понятий в российскую социальную науку. Термин многозначный и использовался участниками конференции (в том числе и 4 американцами) в разных смыслах, кроме одного, на котором настаивал Рансел, – как «ментальная решетка», формирующая и как бы предрешающая восприятие действительности.³⁶ Существование «ментальной решетки» (или социальной установки, диспозиции) открыто не постмодернистами, а намного раньше – классиками марксизма, американскими социологами У. Томасом (W. I. Thomas) и Ф. Знанецким (F. Znaniecki); идея развивалась в 1960-1980-е гг. российскими психологами и социологами В. Н. Мясищевым, А. Н. Леонтьевым, В. А. Ядовым³⁷ и хорошо известна российским историкам. Думаю, что по каким-то случайным обстоятельствам, выступление Рансела не получило отклик у присутствующих. Но вот что пока не нашло применения в российской историографии, хотя уже и осознано,³⁸ так это новый тип социального объяснения, предложенный социальной антропологией и хорошо усвоенный американскими русистами. Согласно ему человек не является только производным социальной структуры, а социальный мир – только пространством объективно заданных связей, внешним по отношению к человеку (как постулировал марксизм); человек сам творит структуры и социальный мир. Другими словами, человек не только наследует общество, но и изобретает его; и этот процесс изобретения общества бесконечен. Эта идея интересно реализована в

³⁶ «Сокращенная стенограмма обсуждения докладов,» in *Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). Материалы международной конференции. Москва. 14-15 июня 1994 г.* / В. П. Данилов, Л. В. Милов, отв. ред. (Москва: РОССПЭН, 1996), с. 401.

³⁷ *Краткий словарь по социологии* (Москва: Издательство политической литературы, 1988), с. 63-64 (диспозиция личности), сс. 429-430 (установка социальная). См. также: David G. Myers, *Social Psychology*, 6d ed. (The McGraw-Hill Companies, Inc, 1999), Chapter 4.

³⁸ А. К. Соколов, «Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения,» сс. 39-76.

статьях Коткина, Слезкина, Холквиста и других. Что же касается организации международной конференции по вопросу значения менталитета для понимания аграрного развития России, то это, на мой взгляд, может служить только доказательством разрушения стен между западной и российской историографией, даже несмотря на то, что лингвистический аспект понятия менталитет не был в полной мере осознан ее участниками.

Таким образом, Рансел прав, когда говорит, что единой русистики пока нет. Однако по вопросу о доминирующих тенденциях я ближе к Дэвиду-Фоксу, который считает, что «в настоящее время идет процесс создания новой интернациональной историографии России, заметное стирание национальных границ между тремя основными центрами исследований в данной области исторической науки – между англо-американской, русскоязычной и европейской историографией». Признаки такого сближения – «возможность читать одну и ту же историческую литературу», взаимные переводы, «постоянное научное общение и взаимное обогащение идеями» (2:39-40). Однако процесс далек от завершения и его дальнейший ход, на мой взгляд, в существенной мере зависит от развития отношений между Россией и США, Россией и Западом в целом. До сих пор в американских средствах массовой информации Россия нередко предстает в образе врага свободы и демократии, а, значит, врага США и их западных союзников. С этой целью в последнее время используются война с чеченскими террористами и борьба за российское телевидение между различными финансовыми олигархами, например за НТВ и ТВ-6. Некоторые социологи полагают, что негативная интерпретация действий российского правительства объясняется потребностью создать образ врага, для того чтобы продемонстрировать американскому народу превосходство американской системы ценностей и образа жизни, поддерживать американскую идентичность. Если партнерские отношения между Россией и США, наметившиеся после 11 сентября 2001 г., закончатся вместе с антитеррористической

операцией в Афганистане, если в США трактовка России как отсталой империи зла, и наоборот, США в России - как передовой империи зла реанимируются, то становление подлинно интернациональной историографии замедлится; напротив, если возобладает взаимное понимание и уважение, то формирование единой мировой русистики пойдет с ускорением. Поэтому наше будущее до некоторой степени в руках историков, которые часто выступают экспертами для своих правительств и влияют на общественное мнение.

Подведу итоги сказанному.

В настоящее время в американской историографии сосуществуют различные направления, наиболее важные среди них «другая социальная история», постмодернизм, психоистория, клиометрика, неомарксисты, школа Анналов, историческая антропология.³⁹ Многие американские русисты, но, вероятно, не большинство, придерживаются важнейших принципов, приемов наблюдения и интерпретации данных, постулируемых постмодернизмом и исторической антропологией; большинство же, с точки зрения эпистемологических принципов, принадлежат к практическим реалистам. Они используют разные методики и подходы, в том числе и идеи постмодернистов в их умеренном варианте, не принимая крайностей, вроде того что прошлое создается самими историками, а социальные явления суть только тексты. Они придерживаются компромисса: язык порождает, но также и отражает социальную реальность; язык содержит в себе социальный мир, но может быть также использован для его описания и объяснения; социальные явления обретают значение в жизни людей через дискурс, но они реально существуют, ограничивая или способствуя действиям отдельных людей и социальных групп. Большинство

³⁹ С. И. Жук, «Заметки о современной американской историографии,» *Вопросы истории*, 1995, № 10, сс. 162–166; С. Смит, «Постмодернизм и социальная история,» *Вопросы истории*, 1998, № 8, сс. 154–161; Joyce Appleby, Lynn Hunt, and Margaret Jacob, *Telling the Truth about History* (New York: Norton, 1994); G. Himmelfarb, *The New History and the Old* (Cambridge, MA and London, 1987); Peter Novick, *That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession* (Cambridge et al.: Cambridge University Press, 1990).

американских, как и российских историков, не утратили веру в то, что значение, объяснение, смысл социальных явлений, также как относительная и вечно изменяющаяся историческая истина – не пустые звуки для исследователя. Если иметь в виду содержательные результаты работы современных американских русистов, то не может не радовать тот факт, что авторы отходят от клише холодной войны, которые рассматривали не только СССР, а и Россию как империю зла, обреченную на кризис, как страну уникальной неевропейской культуры. Свежие взгляды американцев гармонируют с новыми течениями в российской историографии, также предлагающими смотреть на Россию как нормальную европейскую страну, в которой действовали аналогичные тенденции и закономерности.

Должен сознаться, что в «антропологическом повороте» меня смущает один момент – наметившаяся переориентация американских русистов от метаистории в сторону простого нарратива и изучения отдельных эпизодов и событий.⁴⁰ Такой подход обеспечивает глубину анализа, но гарантию избежать фатализма, предвзятости и презентизма не дает. И в эпизоде будет мерещиться кризис, если у историка есть, как признался один российский исследователь революции 1917 г. при обсуждении «Социальной истории», навязчивое желание увидеть в источниках «спрятавшуюся до поры до времени смуту».⁴¹ Кроме того, подобный подход имеет, на мой взгляд, очевидные минусы – фрагментарность, неясность, неопределенность получаемых результатов, невозможность получить общую картину. Это все равно что смотреть на монументальное живописное полотно вблизи, через увеличительное стекло – в пейзаже увидишь травинку, в портрете – носок сапога, а самого пейзажа или портрета не увидишь. Давайте представим, что историки всегда изучали только

⁴⁰ См. например, Jane Burbank and David L. Ransel, eds., *Imperial Russia: New Histories for the Empire* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press), 1998. Редакторы провозглашают преимущества нарратива и микроисследований, а авторы сборника эту идею реализуют.

⁴¹ «Российский старый порядок: опыт исторического синтеза. «Круглый стол»,» / Материал подготовил С. С. Секиринский, *Отечественная история*, 2000, № 6, с. 65.

эпизоды и события, причем в понятиях современников, или источников. Мы бы никогда не получили общей картины, а имели бы книгу анекдотов, в лучшем случае - целое собрание интересных рассказов, занимательных и любопытных, но в общем не объясняющих что, как и почему произошло. Только на фоне и на базе прежде выполненных капитальных исследований по социальной, экономической и политической истории, охватывающих большие периоды и применяющих современный научный язык, изучение эпизодов и событий имеет смысл. Если мы достоверно выясним, сколько еврейской крови текло в жилах Ленина и получал ли он деньги от правительства Германии, был ли Сталин агентом царской охранки, каковы были отношения Распутина с императорской семьей, кто расстрелял семью Романовых и т. п., много ли ясности внесет это в понимание сущности революции? Если мы будем знать, как Ленин относился к Сталину, как Сталин относился к Крупской, кто стрелял в Кирова, точное число жертв сталинских репрессий, хотел ли Сталин первым напасть на Германию, сколько инфарктов перенес Брежнев или Ельцин, поможет ли это нам понять сущность советского строя и реформ 1990-х гг.? Как соединить маленькие истории в большую историю процессов, как объединить результаты отдельных маленьких трагедий и триумфов в общую картину, которую также желательно иметь? Этот вопрос слышится от историков, работающих во всех областях и во всех странах, поскольку постструктуралистские, феминистские и постмодернистские исследования поставили под сомнения интерпретации, основанные на постулатах классической эпистемологии. Но пока удовлетворительного ответа не предложено.

При чтении работ, включенных в Антологию, большую часть из которых я читал в свое время по-английски, еще раз убедился в том, что хорошо переведенный русский текст понимается глубже и отчетливее. Отчасти это объясняется тем, что русские слова для русскоязычного читателя имеют более определенное и ясное значение, чем английские. Но

главная причина, как мне кажется, состоит в том, что многие термины (класс, сословие, государство, общество, сталинизм, нация и т. д.) в русском и английском языках слышатся одинаково, но имеют различное значение и при чтении по-английски вызывают у русскоязычного читателя противоречивые ассоциации – он читает по-английски, но думает то по-русски. Мне известны некоторые российские историки, которые для лучшего понимания англоязычных работ, сначала делают письменный перевод, и только потом этот перевод читают и осмысливают. В годы холодной войны, когда русистика в США находилась в привилегированном положении, было написано много интересных работ, которые не утратили и еще долго не утратят своего научного значения, но, к сожалению, недоступны для российских читателей, слабо знающих иностранные языки. Некоторые из работ постепенно переводятся. Это очень важное и полезное дело для российской историографии, и в то же время это один из способов сближения американских и российских историков. Антология, несомненно, будет помогать этому процессу. Интеллектуальная мода приходит и уходит, хорошие работы остаются и долго служат источниками информации и возбудителями мысли.